ВЕНЕДИКТ

ЕРОФЕЕВ

МОСКВА – ПЕТУШКИ



Москва — Петушки

Венедикт Ерофеев

Аннотация
Москва — Петушки. Поэма
В. С. Муравьев. Предисловие
Москва — Петушки. Поэма

Аннотация

Поэма «Москва — Петушки» — самое популярное произведение потаенной русской литературы последних десятилетий, переведенное почти на двадцать языков мира.

Москва — Петушки
Поэма

ВЕНЕДИКТ

ЕРОФЕЕВ

МОСКВА–ПЕТУШКИ



В. С. Муравьев
Предисловие

автор которого не знает, зачем нужны предисловия и пишет нижеследующее по инерции отрицания таковых, пространно извиняясь перед мнимым читателем и попутно упоминая о сочинении под названием «Москва — Петушки».

Для начала — для пущей честности, для непрофессиональной искренности — надо признаться, что пес его знает, зачем и для кого предисловия пишутся. Я их много написал — и вот чем дальше, тем больше… недоумеваю. Нет, зачем печатаются — это я знаю: чтоб у книги было предисловие, а то как же без предисловия? Бог один знает, что могут (а ведь могут — в третьем безличном лице множественного числа) подумать. Подумают: почему это книга вдруг без предисловия? А не значит ли это?

— Для начальства, что ли? — грубо и напрямик спросит кто-нибудь, и я задумчиво покачаю головой: нет, вряд ли. Не читает начальство

предисловий, ей-Богу, не читает. Ну за каким, сами посудите, лешим начальству, будь оно, как Змей Горыныч, минимум о семи головах, читать, что, положим, Радищев «заполнил целый этап, воплотив собой вершину»? Или что Гоголь, век мне — или ему? — свободы не видать, «стремился пробудить у читателей чувство протеста»? Или даже что новоявленный Венедикт Ерофеев, о котором какая ни на есть речь ниже, «резок, беспощаден и безбоязнен в обличении пороков своих сограждан»? Ишь Ювенал выискался!

Если бы пропускное начальство это прочло и этому поверило, оно бы нипочем не пропустило напечатанную вслед за вышепроцитированным предисловием С. Чупринина «беспощадно и безбоязненно» изрезанную, но все же сногсшибательную поэму Ерофеева в журнале «Трезвость и Культура» (№№ 12/1988, 1–3/1989). Читатели, и те в массе своей сомневаются: какое-такое начальство ее пропустило и в каком смысле ее читать — в смысле трезвости («больше пейте, меньше закусывайте») или, может быть, в смысле культуры… и отдыха?

Нет, скажу я еще раз, тоже грубо и тоже напрямик, не читает начальство предисловий, разве что по-печатному, в качестве докладов, нима-

ло не вникая в смысл написанного печатными буквами. Но это особь-статья, тем более, что так оно и надо.

Стало быть, не для начальства — а для кого тогда? Кто это, интересно бы знать, вместо того чтобы прочесть первую магическую фразу поэмы «Все говорят — Кремль, Кремль» — и, разиня рот, отфыркиваться от дальнейшей прозы с восклицаньями «то есть как это?», «то есть что же это?» или наоборот «Ба! Ура! Ого-го! Эх! Ух! Чу!» и т. д. — кто, собственно, будет читать и одобрять это вот предисловие, которое я пишу непонятно для кого и Бог весть зачем? Ах, да — пишу, чтобы все-таки было хотя бы предисловие, а то ведь могут подумать…

Ну, если на то пошло, я его не пишу, а, выражаясь профессионально, кое-как моделирую спиральную композицию поэмы — на кого, что называется, тот же Бог пошлет, на того и моделирую. А уж что смоделируется… об этом пока молчок.

Живучи на Руси, нельзя не путешествовать хотя бы туда-сюда; иначе, чего доброго, окажется, что и не на Руси живешь, а в каком-то славяно-греко-латинском захолустье, из которого, пожалуй что, и не выберешься без посторонней, предполо-

жительно революционной помощи. Рискну даже предположить, что и руку-то за этой опасной помощью протягивали (а ведь протягивали! увы, и кому только не протягивали!) от страха, если не от ужаса все перед той же славяно-греко-латинской Русью, ужаса мучительного, трясучего и, что хуже всего, беспомощного. А может быть — и, пожалуй, даже наверняка — ужаса безотчетного.

«Я взглянул окрест меня» — и отправился в путешествие: «ужели сия грозная мачеха (природа, чтоб вы чего не подумали — В. М.) произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи»? И в дорогу без оглядки — айда, ребята, узнавать-выяснять, кому на Руси жить хорошо, а то вот нам-то что-то почему-то плоховато. Сыщем-отыщем, кому хорошо, вытянем его за ушко да на солнышко, разберемся с ним по-свойски — и тады ой, тады мы, ладно, и дальше согласны терпеть, а так хоша мы и терпим и на все готовы, но терпежу нашего больше нет.

Терпежу и правда как есть нету — и кого ни линчуй, а станет его еще меньше — только вот на Руси вовсе не так уж плохо жить, и об этом, верьте слову, все-все у Ерофеева, с первой до последней строчки. Мало того, есть мнение и возникает подозрение, что хорошо-то жить на Руси не иному

кому, как самому Веничке, его-то и надо за ушко… «Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И — неуважение к Слову. А во всем остальном…» — так говорит иудейскими устами «сегодняшнего дня крикогубый Заратустра» в веничкиной пиэсе, и недаром говорит, даром что иудейскими устами. И стало быть, линчевать за благоденствие следует не кого иного как… Но не будем забегать вперед. Линчуют, будьте благонадежны, обоих.

Немножко путаю, согласен. Нарочно путаю, виноват. Одно, скажут, дело правдоискатели от сохи: «сошлися и заспорили», а другое — преждевременно интеллигентный Радищев или через почти двести лет интеллигентный Веничка — ох, не затем они сорвались искать!

Однако сорвались — точь-в-точь как «платоновцы» из более чем гениального «Происхождения мастера» — искать напропалую и познавать на опыте. Как герои-посланцы Платонова, как Радищев. Я, конечно, путаю, и путаю нарочно: однако же, изволите или не изволите видеть, но нет этой пропасти между русской интеллигенцией (если только не обзывать ее «образованщиной» и не отчислять по разряду злокозненных инородцев) — и русским народом. Надо ли объяснять,

какой «этой» пропасти? Не надо — нету ее, и все тут, и поэма Венедикта Ерофеева — тому живое и трепетное доказательство.

Путь у них у всех один и тот же, путь правдоискательства, хоть и в разные стороны — из Петербурга ли в Москву, из Москвы ли в Петербург, он же Санкт-Ленинград… вот он и пролег, брякая железнодорожными названиями, аж от Москвы до самых до Петушков — ну, правда, в Петушках ни правдо-счастья-искателю Веничке, ни его читателям, увы, не бывать. Как не находится пути в Москве к Кремлю (к тому, о котором «все говорят: Кремль, Кремль»), так же нет его, и пути из Москвы. Интересно бы хоть обозначить ту кривую, по которой движется автор-повествователь. Скорее всего, это лента Мёбиуса. И на мой взгляд, это ленточное развертывание сюжета (и встречного антисюжета) — такое же, как у Радищева, как у Пушкина. Однако у Ерофеева есть кое-что новое — удивляться не будем! — и очень даже новое.

Отчасти новизна эта связана с развертыванием сюжета — таким же, да не таким. Отчасти, да не совсем. Целиком, да не полностью. С развертыванием, сказал я. А можно бы — с вытряхиванием или даже выпряданием, а еще лучше — с самоход-

ной инсценировкой российской фантасмагории. Новизну эту впервые замечаем у позднего Щедрина, и Ерофеев щедринствует гораздо больше, чем это заметно с первого, второго и третьего взгляда. (Тут автор данного предисловия в очень выгодной ситуации: перепечатав по случаю советских 1970-х поэму раз эдак шесть, он имел некоторую возможность присмотреться к тексту.)

Итак, не назовем ли новое качество ерофеевского художественного сообщения, согласно общеизвестной пошлости, «хорошо забытым старым»? Нет, не назовем, ибо это новое, всего полуторавековой давности качество, прошло почти абсолютно незамеченным. Его можно бы, пожалуй, назвать противоиронией. Оставляя Гоголя в стороне («Гордый гоголь быстро несется», — как говаривал автор «Тараса Бульбы»), я считаю — или, если угодно, мне представляется, что противоирония в русской литературе впервые отчетливо явлена у Козьмы Пруткова; она разбросана по всем сочинениям А. К. Толстого, даже не скажу, что по ироническим в особенности; и пышным расцвела она цветом в позднещедринских сочинениях — скажем, в «Письмах к тетеньке», «Современной идиллии», «За рубежом». Сочинениях изумительно неоцененных,

ибо в них искались исключительно обличения. Как бы даже и находились, но какие-то странные, вкривь и вкось. Никак нельзя согласиться с Набоковым, который устами любимого героя полагал, будто бы Щедрин так-таки «дерется оглоблей». Он это полагал с чужих слов, и глуповато полагал: жаль, возражателей не нашлось, но откуда они взялись бы! Перемерли они, возражатели.

А возразил бы ему некто Писарев, Дмитрий Иваныч. У него, у Писарева, был революционный образ мысли, обостренный чуть не лермонтовской иронией, и уж ему-то, почти как Лермонтову, все было иронически понятно на сто с лишним процентов, а витиеватое и как-то не прямо идущее к делу щедринское остроумие расцветало для него «цветами невинного юмора».

В чем, впрочем, нет ничего удивительного: с тем и возьмем. Москва, говорите, Петушки? Есть у нас попутный маршрут величайшего и непроизвольного мастера противоиронии: Игоря Северянина. Из Москвы — в Нагасаки! А из Нью-Йорка — куда бы вы думали? На Марс! Что из Нью-Йорка, кроме как на Марс, некуда — это наперебой доказывает вся нынешняя американская литература, да разве только американская? А вот из Москвы… неужели так уж обязательно

— в Нагасаки? Чего мы там не видели — в Нагасаках? Атомного взрыва? Может, коли на то пошло, лучше все-таки — в Петушки? «В Петушки, где…» Поворот по правилам противоиронии, на неверные сто восемьдесят градусов.

Могут найтись такие, которым и не читавши Ерофеева почему-либо заранее любопытно, имеется ли «на самом деле» противоирония, или же автор данного предисловия ее более или менее выдумал для облегчения себе жизни. Выдумал не выдумал, однако ж имеется: и то «сложное чувство», которое непременно останется у вас после прочтения поэмы, есть неразложимый компонент противоиронии, изобретения сугубо российского, спрофанированного на Западе ихними абсурдистами. Оно, это чувство, должно оставаться у вас и после чтения Щедрина, а если не остается, то либо вы Щедрина не читали, либо не прочли. Ладно уж, будем секретничать вместе: это она самая, бывшая российская ирония, перекошенная на всероссийский, так сказать, абсурд, а лучше сказать — порядок. Перекосившись, она начисто лишается гражданского пафоса и правоверного обличительства. Впрочем, нет, не начисто: она сохраняет то и другое, но попробуйте представить Ерофеева обличителем

— и сами увидите, что у вас получится. Ничего у вас не получится, кроме все того же странного безобразия — и придется вам, вместе с критиком С. Чуприниным, вышепроцитированным автором предисловия к трезво-культурной публикации «Москвы — Петушков», объявлять поэму «исповедью российского алкоголика».

Нн-да-а-а… Тут не знаешь, что и сказать, вспоминаючи свифтовскую мрачную шуточку: «Уж если кто и под этим гнетом с ума не сошел — тот и впрямь сумасшедший». Словом, пленительно. А пленительнее всего, по-моему, то, что «алкоголик» — подобно государству или водке, других примеров на ум что-то не приходит — может быть «российским». Видимо, это надо понимать так, что алкоголик — государственное звание, а алкоголизм — российское призвание; тут, казалось бы, предисловщик-Чупринин совпадает с повествователем-Ерофеевым, но боюсь, что невольно: С. Чупринин, в отличие от В. Ерофеева, этого почти наверняка в виду не имел. Он — по должности соболезнователь, это есть у нас такая литературно-критическая должность.

Как ни крути, а придется немножко разобраться с тем, что у нас понемножечку происходит. С тем, что можно бы назвать — оживляж. А оживляж

такой, что скоро, пожалуй, и не протолкнешься, почти как на небесах русского философа-библиотекаря Н. Ф. Федорова. Начался он опять-таки в XIX веке, разночинными стараниями: тут на пару поработали попович Добролюбов и дворянин Писарев, призывая персонажей русской литературы на товарищеский суд. Те как бы восстают из словесного праха, начиная, должно быть, с Евгения Онегина, являются по критической повестке и объясняют, как это они так оплошали. Они бы еще ладно, много ли их там — Онегин-Печорин-Обломов да Луч Света в Темном Царстве, — но запуганная критикой художественная словесность принялась «отображать» действительность, множить и персонажить ее, и к началу XX столетия оживленные критикой (как правило — неправильно оживленные) гомункулы-персонажи стояли послушными толпами, как на картинах Ильи Глазунова.

И — сколько их? куда их гонят? что так жалобно поют? В том смысле, что очень многовато прибавилось их в нашем веке, что уж куда их гонят, туда и гонят, неуместно здесь пушкинское любопытство; а поют — ну, оттого так жалобно и поют, что петь им весело не с чего и незачем, а жалобно сам Бог велел, да на Руси иначе и не

поют. «От ямщика до первого поэта…» Если сам знаешь, зачем спрашиваешь?

И развелось их — ой-ой-ой, и такие, и сякие, и в особенности иссиня-красные, а последним из них признается в неправильном алкоголизме не кто иной как Венедикт Ерофеев. А ну-ка, Ерофеев, шаг вперед, два шага назад! Да нет, ладно, стой на своем месте, только не строй из себя в строю, понял? Алкоголизму твоему мы сочувствуем, а в остальном… ах, бедный ты, бедный!

То есть просто оторопь берет: какой это, право, несчастный Ерофеев и что это за бедственная Русь: «Моску-сюр-ле-водка»! (Так для вящей трогательности: Москва, мол, стоит на водке, — перевели заглавие поэмы на французский). Ужас, как много пьют в России! Не чересчур ли много? Вот и Веничка, бедняга… Исповедуйся, алкоголик, а мы тебя в нынешнем просветлении, глядишь, и поймем! Ага, не ожидал!

А исповедоваться надо на лютеранский манер, каяться в своих грехах публично, в науку общественности. В этом одном, пожалуй что, и правы все те, кто усматривает сходство между «Москвой — Петушками» и «Гаргантюэлем-Пантагрюэлем». Только сходство-то это — не вразлет ли? Если, скажем, считать, что раблезианцы гордятся

каждой выпитой бочкой, а Веничка Ерофеев исповедуется во всякой стограммулечке? А если Веничка, предположим, ею тоже гордится, то как тогда? Ведь «исповедь» его прямо-таки на граммы подсчитана! И ежели он, что ни грамм, то кается (что за исповедь без покаяния?), то не пришлось бы ему, по слову митрополита Московского Филарета, посоветовать: смирите в себе, сударь, гордыню смирения!

Стоп, стоп! Какое там смирение? Там, наоборот, псалмопевческое вопрошание: «что бы мне еще выпить во славу Твою?» А если вспомнить, что во славу Его выпито? — тут обрушится всякое благочестивое построение типа «узнайте же, жестокосердые, что и алкоголики чувствовать умеют!» И карамзинский, навязанный подтекст тоже — исчезнет.

Нет, не надо ни оживлять ерофеевских персонажей (это в другом смысле можно), ни сострадательно принижать автора. Разливанное море спиртных напитков читателя не захлестнет: не тонет же он, читатель, в винном, чтоб не сказать — винодельческом изобилии у Рабле! Или — тонет? Предъявите утопленников. От Рабле еще никто не утонул.

Не хотелось бы объяснять то, что само собой

должно быть ясно: что рассчитанный чуть не до миллиграмма сюжет не есть возникновение мученической главы писателя из разливанного моря; что не нужно понимать и принимать буквально написанное и предложенное (так, не советую все-таки изготовлять коктейли по нижепредложенным ерофеевским рецептам: не то что не получится, а просто невзначай Богу душу отдадите — готовы ли вы к этому?); и наконец — что сострадальческое оживление ерофеевских персонажей грозит бедствиями непредвиденными и неисчислимыми. Сами не знаем, кого оживляем — это, между прочим, относится и к Н. Ф. Федорову, собравшемуся оживлять род человеческий и забывшему, что к нему — по его же логике — относятся и литературные персонажи… Пустяки дела!

Главное — не то, что трудно писать («Здравствуй, брат, писать трудно», — как нельзя более правильно приветствовали друг друга Серапионовы братья) — нет, главное, трудно разговаривать с читателем поэмы, который еще ее не прочел, ну то есть навязывать ему разговор непонятно о чем. Я пробую говорить предварительно, почти не касаючись текста, в порядке, что ли, рекламы: есть ведь и такой способ предваритель-

ного разговора. И снова: с кем? А это уж с кем придется.

Итак, земную жизнь пройдя до половины, а кто и на девять десятых, сами того не зная (знают, кому надо) — мы заблудились в сказочном лесу; что правда, то правда. Бог правду видит, да не скоро скажет. Это, так сказать, предварительный сюжет; ну что ж, если нужно спецопределение, то и за ним не постоим, чай, не за водкой.

Вот оно, воспроизведение образа жизни, с его под- и надтекстами, во всей его мистической полноте. Воспроизведение образа жизни в его историческом, тире бытовом измерении, от которого мы никуда не денемся и не деваемся. Полноте и красоте. Отрекаться от него не приходится — какой есть, такой есть, и не разоблачение, вовсе не разоблачение, а принятие его определяет и объясняет пафос ерофеевской поэмы (сами увидите, что так оно и есть).

Один маленький момент: дантевский, так сказать, — цифры, танцующие и переменчивые цифры, как бы числа, окружают читателя от начала поэмы кривляющимся хороводом; и опять-таки — сколько их? куда их гонят? Не надо пугаться: они выстроятся, они постепенно становятся обязательным сопровождением пу-

тешествия.

Да, вот не прошло и четверти века, а Россия (СССР) уже читает путешествие из Москвы в Петушки. Злосчастное путешествие, ибо в неописуемые, приснoблаженные Петушки, как уже говорилось, ха-ха, никто не попадет, ни мещанин Минин, ни князь Пожарский, ни люмпен-интеллигент Веничка Ерофеев, почем зря растрачивающий свое бутыльчатое снаряжение. Все они — и читатели, разумеется, в их числе — окажутся в «неизвестном подъезде», лицом к лицу с бредовой, и тем более реальной, изуверской жестокостью, и все мы задумчиво повторяем вслед за невинно убиенным Веничкой Ерофеевым: «…с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».

Постскриптум. Не хотелось бы утверждать, что постоянный подтекст истории русской литературы — противодействие пошлости: любой, любой, и православно-самодержавпо-народной, и оголтело-самозванчески-демократической — но увы, от этого подтекста никуда не денешься. Никуда от него не девается и Венедикт Ерофеев — он лишь воздвигает против нее ненадежную преграду юмора. Пошлость всесильна, она настигнет, загадит, убьет, у нее есть свои наемные мстители,

загадочные и мрачные, как в конце поэмы — они, как в «1984» Оруэлла, всех победили и побеждать будут.

…Но черта с два! Есть еще и у нас в запасе кое-что, например, нижеследующая поэма. Есть еще порох в пороховницах, и черный наш юмор не так уж черен, как это может показаться.

В. С. Муравьев

Москва — Петушки
Поэма

Вадиму Тихонову,
моему любимому первенцу,
посвящает автор
эти трагические листы



Петушки
Левково
XII зона
Омутище
Пл.113 км
Покров
XI зона
Пл.105км
Усад
X зона
Вонково
Крутое
Орехово-Зуево
IX зона
Пл.87 км
Пл.65 км
Дрезна
IX зона
VIII зона
Назарьево
14км
Павл. Посад
VII зона
Электрогорск
5 км
2 км
Пл.65 км
Пл. 61км
Фрязево
VI зона
Металлург
Есино
Электросталь
VII зона
Машиностроитель
Хвалуново
V зона
Пл.43 км
Ногинск
На Монино
Электроугли
Захарово
Пл. 33км
IV зона
Купавна
Чернов
Железнодорожная
III зона
Кучино
Салтыковская
Никольское
Балашиха
Горенки
Реутово
Стройка
Новогирсево
III зона
Кусково
II зона
Чухлинка
Карачарово
I зона
Серп и Молот
МОСКВА
Пасс.-Курск.
(метро „Курская")
Калинин
Савелово
Волоколамск
Александров
Москва
Петушки
Бородино
Черуста
Калуга
Серпухов
Голутвин
Ожерелье

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

Первое издание «Москва — Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к 1-му изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой: «И немедленно выпил» — следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы: «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы: «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

МОСКВА. НА ПУТИ К КУРСКОМУ ВОКЗАЛУ

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, расслабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому, там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-десерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а

дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог же я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо-то было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня). И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на 6 рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли

себе я пил или во зло? Никто этого не узнает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, — все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего. Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше,

которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал; если направо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть». О, тщета!

О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

МОСКВА. ПЛОЩАДЬ КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно придешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету…

— Да брось ты, — отмахнулся я сам от себя, — разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? До того ли мне теперь? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — *что* мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило…

«*Конечно, Веничка, конечно,* — кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, — *зажмурься, чтобы не так тошнило*».

О! Узнаю, узнаю! Это опять они! «Ангелы Господни! Это вы опять?»

«*Ну конечно, мы*», — и опять так ласково!..

«А знаете что, ангелы?» — спросил я, тоже тихо-тихо.

«Что?» — ответили ангелы.

«Тяжело мне…»

«Да мы знаем, что тяжело, — пропели ангелы. — *А ты походи, походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…»*

«Красненького?»

«Красненького», — нараспев повторили ангелы Господни.

«Холодненького?»

«Холодненького, конечно…»

О, как я стал взволнован!..

«Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется… Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..»

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

«А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..»

«Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы».

И они так тихо-тихо пропели:

«На здоровье, Веня…»

А потом так ласково-ласково:

«Не стоит…»

Какие они милые!.. Ну что ж… Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил… А когда ты их вчера купил? вспомни… иди и вспоминай…

Я пошел через площадь — вернее, не пошел,

а повлекся. Два или три раза я останавливался — и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

— Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго… Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-десертом?

МОСКВА. РЕСТОРАН КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Нет, только не между пивом и альб-де-десертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой — это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой,

а уж конфеты — после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я…

— Спиртного ничего нет, — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь, если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь — только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю… Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, чаша моих прэ-з-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя

при свете зве-о-о-озд ночных…» Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не отвер-га-ай…»

— Будете что-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Очччень интересно. Да. Хересу — нет. А вымя есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой.

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, — будет страшно больно… Да нет, наверное, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху — люстра. Очень тяжелая мысль…

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился — не такая уж тяжелая эта мысль… Но вот если ты сидишь

с перепою, и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают — и тут тебе еще на голову люстра — вот это уже тяжело… Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою.

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и…

— Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: НЕТ у нас хереса!

— Ну… я подожду… когда будет…

— Жди-жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть…

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и

был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры…

— Кому здесь херес?!..

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности — я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие… Я весь как-то сник и растерял душу.

— Да ведь я… почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду… я так…

— Это как то есть «так»!.. Чего это Вы «подождете»!..

— Да почти ничего… Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев вот купил…

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь… из Сибири, я сирота… А просто, чтобы не так тошнило… хереса хочу.

Зря я это опять сказал про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной — чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

МОСКВА. К ПОЕЗДУ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженств и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания:

«Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок».

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою, как столб, посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся ниоткуда:

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик — точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно…

Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно…

Сейчас я вам скажу общий итог.

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, — говорю я, вступив на перрон. — Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка: «Чтобы не стошнило»?

— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так — вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет. Стошнить то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка! Как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтоб быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну, как то есть ничего! — говорю я, входя в вагон. — Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь…

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну так что же? Пусть примитив, — говорю. И

на этом перестаю с вами разговаривать. «Пусть примитив!» А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. «Пусть примитив!»

А вы все пристаете:

— Ты чего, обиделся?

— Да нет, — отвечаю.

— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?..

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки! «Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино». В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, — тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать — я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно. Все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день — какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно — и утром, и вечером — тут

уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощупал — и поблек… Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», — тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, *чтобы не стошнило*. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. *Раздели со мной трапезу, Господи!*

СЕРП И МОЛОТ — КАРАЧАРОВО

И немедленно выпил.

КАРАЧАРОВО — ЧУХЛИНКИ

А выпив, — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, — выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице

моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары… Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами…

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается: глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана…

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной,

во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям; вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-

тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа „я вас умоляю“!» А умный-умный жует и говорит: «Да-а… Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… «Закуска типа „я вас умоляю“!» …Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь… а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество… Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — и сколько раз это губило меня…

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа

в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то *отстраняют* меня от себя, как-то *шепчутся*, на меня глядя, как-то *смотрят* за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно… И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх… «В чем дело? — терзался я, — отчего это так?»

И вот — наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну… Не иначе, как что-то случилось…

— Послушай-ка, — сказали они, — ты это брось.

— Что «брось»? — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других… что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред…

— Да с чего вы взяли!..

— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

ЧУХЛИНКА — КУСКОВО

— Пил.

— Много пил?

— Много.

— Ну так вставай и иди.

— Да куда «иди»?

— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…

— Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал…

— Нет, утверждал. Как ты поселился к нам — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь…

— Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? — я уж от изумления совсем глаза распахнул…

— Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь — вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни

разу даже по малой… даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

— Нет, вы меня не так поняли, ребята… просто я..

— Нет, мы тебя правильно поняли…

— Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я …ать пошел!» или «Ну, ребята, я …ать пошел!» Не могу же я так…

— Да почему же ты не можешь! Мы — можем, а ты — не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..

— Да нет же… Как бы это вам объяснить…

— Нам нечего объяснять… нам все ясно.

— Да вы послушайте… поймите же… в этом мире есть вещи…

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет…

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу… Я начал сдаваться…

— Ну, конечно, я тоже могу… я тоже мог бы…

— Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, — не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы

как плевки у тебя под ногами…

— Да нет, нет. — Тут уж я совсем запутался. — В этом мире есть вещи… есть такие сферы… нельзя же так просто: встать и пойти… Потому что самоограничение, что ли? есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева… и потом — клятва на Воробьевых горах… И после этого встать и сказать: «Ну ребята…» Как-то оскорбительно… Ведь если у кого щепетильное сердце…

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну, так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы *их* облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие

замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие — самое смешное! — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности…

Например, а Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул…

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда… все-таки…

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и… странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну… а что в этом *такого*… я же… это ведь — пукнуть — это ведь так ноуменально. Ничего в этом феноменального нет — в том, чтоб пукнуть…

— Вы только подумайте! — обалдевают дамы.

А потом трезвонят на весь мир от Москвы до Петушков: «Он все это делает вслух, и говорит, что это *неплохо* он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет — «превратно» бы еще ничего! — но именно *строго наоборот*, то есть совершенно по-свински, то есть *антиномично*.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего тут *ужасного*, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

а уж потом пойду и выпью.

Итак. Неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: вначале садились и пили вермут. Потом — вставали, и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что

же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день — опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом, — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабаны мы, конечно, и пальцем не трогали, — да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну, а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, напри-

мер, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда же она, падла, денется! Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соло-

вьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но, вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть»!

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький, принц».

Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да знаешь ли ты их нравственные физиономии? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых, мудаков — известна ли тебе? Если бы была известна, тебе, было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян, и Абба Эбан!..

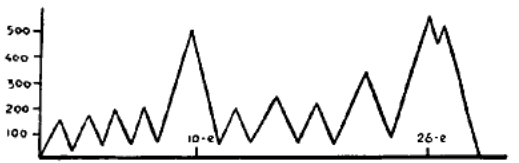
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые, меня, наконец, и поперли…

НОВОГИРЕЕВО — РЕУТОВО

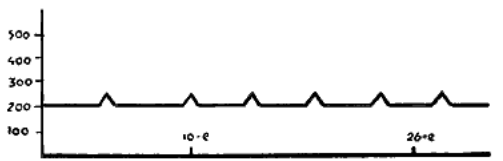
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов, в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не

может представить интереса.

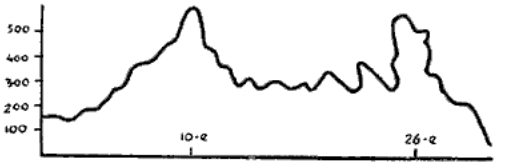
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это — Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:



А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва — Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого: предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у

меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись, по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как и на производстве — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали и на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик перестал бле-

вать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут …, по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

— *Фф фу!*

— Кто сказал «фффу»? Это вы, ангелы, сказали «фффу»?

— Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!

— Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае, я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить… У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха… Вот и теперь…

— Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? — он брюзжал

и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука: а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива, а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну…

РЕУТОВО — НИКОЛЬСКОЕ

ну, хоть сто пятьдесят…» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома…»

Что ж вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, — там никого не тяготит. Там даже у тех,

кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне, меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, — белого, переходящего в белесый, — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..

Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, — вот что оставил! А что впереди! что в Петушках на перроне? — а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается

мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву „ю“ и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква „ю“? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот — я снова встал и через половину вагона прошел на площадку., ….

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

НИКОЛЬСКОЕ — САЛТЫКОВСКАЯ

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», — подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету

утренняя доза, если пить через горлышко, — омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?»

«Ну пусть. Пусть светел твой завтрашний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?»

«Что ж они думают? — Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры? или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и

сверх того еще вкус? Совесть и вкус — это уж так много, что мозги делаются прямо излишними».

«А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен, да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скучен. Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки — ни слова.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой

же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво — из чего это месиво, сказать затруднительно, да вы все равно не поймете — но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скучным и как не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах.

Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну, конечно, видели. Так вот, если б у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое — ну, фиал из севрского фарфора, — или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, — что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что, на день или на три, но теперь она выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? — Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? — В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

«Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно — выпьем».

— Смотрите, как это делается!..

САЛТЫКОВСКАЯ — КУЧИНО

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

— Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…

Я от удушья едва сумел им ответить:

— Во всей земле… во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?..

— Мы боимся, что ты опять…

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутою все счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того… Какие вы глупые-глупые..

— Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…

— До чего не доеду?!.. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные

вы…

— *Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов…*

— Ну что вы! Пока я жив… что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделя, круглый, как небо и земля… Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее — нет, сегодня не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

— *Бедный мальчик…* — вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

— *О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся. Как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…*

— И там, на перроне, встретите меня, да?

— *Да, там мы тебя встретим…*

Прелестные существа эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои

пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге… Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да… Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!

Сделай так, Господи, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или с печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется… А если и заболеет, — пусть, как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку…

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…

Я выпил три стакана лимонной прежде, чем он

проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке… Я долго тогда беседовал с ним, я говорил:

— Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь букву, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

— *Понимаю, отец…*

И как он это сказал! И все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети — все это так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, — махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец!..»

— Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали — царапали — кусали мне жи-во-тик…» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла…» Ты любишь отца, мальчик?

— *Очень люблю…*

— Ну, вот и не умирай… Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь… Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу… «На исхо-де ав-густа ножки про-тя-нула…» это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфлина-день-ка как-ти-бе не-стыдно спать?..» У меня особые причины любить эту гнусность…

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

— Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок… Ты понимаешь?.. Ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я как сосна… Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже… Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет… Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым…

— *Зеленым*, — отозвался младенец.

— Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть… Вот так и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

— *Противно*, — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался…

Вот и я теперь: вспоминаю его «противно» и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

КУЧИНО — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Но сначала все-таки к *ней*! Сначала — к *ней*! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся!

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза — не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

«Может!» — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я уже вам говорил, жасмин не отцветает, и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать бутылок, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного, то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? — спросите вы, — а еще что было?»

А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем

чаще я разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!..

— Так это вы Ерофеев? — и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула…

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещицу читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!

Вот — с этого все началось. То есть началось беспамятство — три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было, — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она рядом,

смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого — все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, — и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания…

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите:

«Так что же, Веничка? Она ……..?»

«Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она …….!»

Еще бы она не ……..! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правой рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правой рукою»! — а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища…

«Что ж! играй крутыми боками! — подумал я, разбавив и выпив. — Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь,

истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила, залпом, еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела…

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — ЧЕРНОЕ

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, — подумал я, — если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют». А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня …….?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете… но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо ……!»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться к захмелевшей… До этого — сказать ли вам? — до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью; но как только устремлялся — сердце останавливалось в испуге. Помыслы

— были, но не было намерений. Когда же являлись намеренья — помыслы исчезали, и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли? — ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был Неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? — ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в Ильича из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в Ильича из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге… Но я отвлекся.

«Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?»

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и

от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство…

Вы мне скажете: «Так ты, что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой „душегуб“?»

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и неверна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и неверна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки пусть. Зато она вся соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по …лу — ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и

так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь, обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вздохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?..

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:

«Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам — знаешь, почему, угорелый!»

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам, Царица Небесная!..

ЧЕРНОЕ — КУПАВНА

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил…

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и не понят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого *такая* есть в Петушках! И *такой* за Петушками!.. Одинок?..

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, — тогда да, тогда я был невозможно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку

овощных голубцов, — и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал…

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, — день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли? — две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог…

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал…

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел?

Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно…

Нет, вот уже теперь — жить и жить! О, жить совсем не скушно! Скушно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить… «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример:

Отчего это, если ты вчера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти

сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так синё, как будто накануне ты и не пил свои 750, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбирать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно что-нибудь выпить, даже нет, вру, не «что-нибудь», а именно то самое, что пил вчера, и с паузами в 40–45 минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы де-

лал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А, сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракциям, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась эта пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет: если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я — просыпался, каждое утро почти просыпался — и снова начинал дерзать…

Например, так: к восемнадцати годам или около того, я заметил, что с первой дозы по пятую

включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж, начиная с шестой

КУПАВНА — 33-й КИЛОМЕТР

и включительно по девятую, — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: надо заставить себя, волевым усилием, преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть, начнется рецидив возмужания? Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов, я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую *выпить сразу, одним махом* — но выпить *идеально*, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака — фактически девятую

— условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую, и будьте уверены, теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь — Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было *не наплевать*. А вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами, попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по 450 грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, — но ведь *они-то! Они…*

Да только ли это! А сколько неизвестности таят

в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру: один день, с утра до вечера, вы пьете исключительно белую водку, и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы — как костер — сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займемся икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте…

— Помилуйте! — кричат мне со всех сторон. —

Да неужели же на свете, *кроме этого*, нет ничего такого, что могло бы…

— Вот именно: нет! — кричу я во все стороны. — Нет ничего, кроме этого! нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Дмитрий Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! в той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание-это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идут на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бель-канто, пусть!.. А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й КИЛОМЕТР — ЭЛЕКТРОУГЛИ

Для того чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, вызвать, или an sich (термин Эммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, — или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть für sich. Термин Эммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и für sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала, потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удо-

стаивает вас быть; в секундах, конечно: восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать — три — четыре — семь — семь — семь — во семнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили схему общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут — они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — двенадцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, востор-

гов и бед каждого отдельного человека, — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать два — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а *она* — всесильна. *Она*, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и перед которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. *Он* непостижим уму, а следовательно, *Он* есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

ЭЛЕКТРОУГЛИ — 43-й КИЛОМЕТР

Да. — Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностно-

го атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету.

От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучино, через грезы в Купавне — к свету в Петушках. Durh leiden licht!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут — яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

— Что мне выпить еще, чтобы и *этого* порыва не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской! И розовое крепкое за рупь тридцать семь! боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый — я создам *коктейль*, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога.

Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всему миру, от Москвы до Петушков, пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки» и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты; я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну, конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну, конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше? А еще превыше тот

миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура, это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, — а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один только раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г

Бархатное пиво — 200 г

Политура очищенная — 100 г

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечьи называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых,

не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить, взамен его, коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень» — составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни…

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама!» — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» и выпил. И что ж вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех

одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый!» Слушайте точный рецепт.

Белая сирень — 50 г

Средство от потливости ног — 50 г

Пиво жигулевское — 200 г

Лак спиртовой — 150 г

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?..

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от

готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишался.

Лаванда — 15 г
Вербэна — 15 г
Лесная вода — 30 г
Лак для ногтей — 2 г
Зубной эликсир — 150 г
Лимонад — 150 г

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой…

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее

вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г

Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г

Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г

Клей Бэ эф — 15 г

Тормозная жидкость — 30 г

Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 20 г

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу…

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть, на дуршлаг откинуть — и спать ложиться… Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки…

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса, с расстояния полутора метров, плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й КИЛОМЕТР — ХРАПУНОВО

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас… А в Петушках — в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым, если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе, что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская — это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «Поцелуй, насильно данный», или проще «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»! Чтобы *не так тошнило* от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый по-

целуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но — у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я вошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском…

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, — глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, — но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь…

Подошел — и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у

Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»… В простоте душевной я ни разу и не заглянул в вагон все это время — прямо комедия… Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедия. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная… Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков… От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева… Теперь начинается детективная повесть… Я заглянул внутрь чемо-

данчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти *сто* грамм? и кого ловить?..

Я взглянул направо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура…

«Транс-цен-ден-тально… — подумал я. — И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит — один-то спит, а другой — в коверкотовом пальто, значит, ни тот, ни другой украсть не могли…»

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом

берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете… Я протер глаза и еще раз посмотрел назад… Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом… Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое — странных только двое, дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже… Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются.

«Подозрительно», — подумал я. — Отчего бы это им облизываться? все ведь тоже глядят мне в глаза, по ведь никто не облизывается! Очень подозрительно… Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уже потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот…

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими,

такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник…

«Очччень подозрительно», — подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже занятно, — подумал я, — они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил…»

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое бедро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?..

ХРАНУНОВО — ЕСИНО

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич… Едем в Орехово, в парк… в карусе-

ли покататься…

А внучек добавил:

— И-и-и-и-и…

Необычаен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки…» Или: «И-и-и-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка…»

— Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

— В карусели.

— А может, все-таки, не в карусели?..

— В карусели, — еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла…

— А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи…

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

— Я — ничего. Я просто хотел компоту покушать… Компоту с белым хлебом…

— Компоту с белым хлебом?

— Компоту. С белым хлебом.

— Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту…

Дедушка — первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как полосы у пианиста… Оба плакали…

— Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить… У меня душа, как у троянского коня пузо, *многое* вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я — понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите — взамен того, чего вы хотите.

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

— Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это

«пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении… Так что же? значит, и вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками…

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите — я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить еще по пятьдесят грамм…

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже с вами хочу выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете…

— И-и-и-и-и, — заверещал молодой Митрич. — Какой дяденька, какой хитрый дяденька…

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот…

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь? — спросил он меня.

Я потеснился, чтоб дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы…

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты… «Наш поезд на станции Есино — не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

ЕСИНО — ФРЯЗЕВО

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, — теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И по-

чему-то обращался единственно только ко мне:

— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно покраснеют…

— Ну, так что же?

— Как то есть «что же»? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

— Прекрасно. Ну, а дальше?

— Как то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только — умер.

— Так-так?..

— А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах…

— Так-так-так… Ну, и…

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и…»

— Ну, и Николай Гоголь…

— Что Николай Гоголь?..

— Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил

ставить ему на стол особый розовый бокал…

— И пил из розового бокала?

— Да. И пил из розового бокала.

— А что пил?

— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну конечно, водку…

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов…

— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу „Хованщина“!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похме-

ляться не даст…

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» — и бух! в канаву. А потом встанет — и опять похмеляться, и опять — бух!.. А, между прочим, социал-демократы…

— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел…

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! — продолжал человек в жакетке. — Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом…

— Погоди, — тут уж я его прервал, — погоди. Так что же социал-демократы?..

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А

честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм… А когда они, наконец, разбудили Герцена…

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. — Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака!..

Все, кто мог смеяться, — все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист …ев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вдруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно… И я — вместе с ними…

Я повернулся к жакетке и черным усам:

— Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и…

— А вот и притом! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успен-

ские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строчки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! а отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны! оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего — пьет!

Ну как тут не придти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет, и пьет, и пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила…

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло… Декабрист в коверкотовом пальто — и

тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза…

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет *абсолютно*! Вы Маркса читали? *Абсолютно*! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! а теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону, — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом…

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя не пить? Взять себя в руки — и не пить? вот — тайный советник Гете, например, совсем не пил…

— Не пил? Совсем? — черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма не пил…

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

— Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?..

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или…»

— Так Вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? — я повернулся к декабристу. — А почему он не пил, Вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпуново, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева

— и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, *вместо себя* заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — *он сам* был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но *как* бы покончил с собой, и был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости, и эгоизма, и творческой низости…

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц.

А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый…

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гете! И руки у него *как бы* тряслись!..

— Вот это да-а-а… — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно…

Мне налили — больше всех. Старому Митричу — тоже налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы…

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?..

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже…

— А… разрешите Вам задать одни пустяшный вопрос, — сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах; он опять обращался только ко мне. — Разрешите спросить: отчего это в глазах у Вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имел такие познания! Можно подумать — Вы с утра ничего не пили!..

Я даже обиделся:

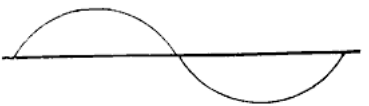
— Как то есть ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… Я просто немного поддал…

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы, как Гете! Вы всем Вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете…

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А

наутро? — наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я *ровно настолько* же мрачнее *обычного* себя, трезвого себя, насколько веселее *обычного* был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое: утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите.



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья…

— Видите? Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером — бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка всех ценностей,

переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, с пьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма…

Она — всеобща и к каждому применима. А у Вас — все не так, как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист — тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

— А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть и — леммы уже нет… В особенности — если баба плохая, а лемма — хорошая…

Враз заговорили все. «Да что такое вообще: лемма?» «И что такое — плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие…»

— У меня, например, — сказал декабрист, — у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у Вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая…

— При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!..

— И об усах! Не было бы усов — не было б и разговора…

— Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как Вы на это смотрите?.. — Черноусый опять поворотился ко мне. — С научной точки зрения, как Вы на это смотрите?..

Я сказал:

— С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобою, и если ты принесешь, допустим…

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» — галдеж возобновился…

— Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой

сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить…

— Да чем же она хороша, эта баба за витриной?..

— Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить… Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка! — голосом таким пропитым и печальным говорю. — Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры…» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст. Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором?

Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, перетерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю: «„Мерило!“ „Цивилизации!“ Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика — смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри…»

— А плохая баба? — сказал декабрист. — Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна, — отвечал я ему. — Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем! — сказал декабрист. — «Идет, как

пишет. А пишет, как Лёва. А Лёва пишет …ёво».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит, в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю „встань и ходи“». И что ж вы думаете? Встал и пошел. И вот уже три месяца хожу, замутненный…

— Замутненность — от грусти, — повторил черноусый в беретке. — А грусть от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал, — перебил его декабрист.

— Да при чем тут «поддал»! А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая? все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать…

— Честное слово! — вскричал декабрист. — Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь… Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет…

«Давайте!» «Давайте как у Тургенева!» Даже старый Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-й КИЛОМЕТР — 65-й КИЛОМЕТР

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди ж ты, помешался…

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается… Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну, зачем тебе именно Эрдели? Возьми ты хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу

я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и …ать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

— Конечно, — отвечает, — если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, — тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну, что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить ей, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве, вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то, чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рррупь мне дай, — говорит. — Дай мне ррррупь!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта м…чка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку…

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил… «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, и он в него высунулся, и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил… И стал человек как человек. Вот видите!..

— Да где же тут любовь и где Тургенев? — заговорили мы, почти не дав окончить. — «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи…»

— Конечно, — прибавил я, — у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… ну, да ладно, у нас без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем…

— Конечно! Конечно!

— Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно

сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну, зачем палец?.. При чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты смог бы ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну, вот то-то…

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и за потирали руки. — А я бы смог чего-нибудь тоже рассказать…

— Ты? рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал… Мой внучек зато все читал…

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет за

чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй…

Дедушка начал рассказывать:

65-й КИЛОМЕТР — ПАВЛОВО-ПОСАД

— Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… и весь в чирьях… и каждый вечер на моторной лодке катался… Сядет в лодку и по речке плывет… плывет… и чирья из себя выдавливает…

Из глаз рассказчика вытекла влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке… придет к себе в правление, ляжет на пол… и тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет… стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький…

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал.

Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны…

— Ну и все, что ли, Митрич?..

— И все, — отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! — брякнул кто-то со стороны. — Кинокартину «Председатель»!

— Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко. Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко вся-

кому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил! Ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Иван Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис…

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался…

— Я тоже хочу Тургенева и выпить, — проговорила она всею утробою…

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды, — съязвил декабрист. Все засмеялись.

— Чего тут смеяться… — сказал дедушка, — баба как баба, хорошая, мяконькая…

— Таких хороших баб, — мрачно отозвался чер-

ноусый и снял берет, — таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали…

— Ну, почему, почему! — я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет! пусть чего-нибудь да расскажет! Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас! — Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «Тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет: «Вот это — видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала — и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

ПАВЛОВО-ПОСАД — НАЗАРЬЕВО

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «видите — четырех зубов не хватает». «Да где же зубы-то эти?» — «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре

передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...

— Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин...»

— Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, — оборвал ее черноусый.

— Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот, Пушкин, опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю:

«А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»

И так всякий раз, — стоило мне немножко напиться. «Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?» — А он — прямо весь бесится. — «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого…

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок по…дую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь

и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!»

И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек…» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба, и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола…

— Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток…

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка…

— А где ж он теперь, твой Евтюшкин?..

— А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири…

— Верно говоришь, — поддержал я ее, — в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате…

— А в Сибири?

— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются…

— Да что еще за негры? — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. — Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах Вы были?..

— Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

— Никаких негров? В Штатах?..

— Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, — все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные — забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка…

— Значит, Вы были в Штатах, — мямлил черноусый, — это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю… я Вам верю как родному… но — скажите: свободы там тоже не было и нет?., свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите…

— Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой

роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхэттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: „От их паскудного самодовольства, и больше ни отчего“. Но откуда берется самодовольство?» — Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да, — кивал головой старый Митрич, — они там кушают, а мы почти уже и не кушаем… Весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу… а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же… помню… — и все выпитое выливалось у него из синих глаз, — помню… «мы с бабушкой уходили все дальше в лес…»

— Да разве ж это про Родину, Митрич! — осоловело сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал…

НАЗАРЬЕВО — ДРЕЗНА

А черноусый сказал:

— Вот, вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?..

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует… И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают…

— Да ведь итальянцы! разве они что-нибудь понимают! — поддержал черноусый.

— Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, — захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих

гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как по…». Да разве ж я как по…! Просто — немотствуют уста…

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было… Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но ведь он недавно умер… А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну,

что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос! Вон, — кричит, — вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго…

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то

выпил и пошел по Елисейским полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню, короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, — прошмыгнула мысль у меня, — откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы…»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаянья я сомнений не знал… — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла…

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были

совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммэр элегант». Эссе по вопросам любви.

А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр — твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок и твердым его никто не назовет…

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне мое эссе, под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж

вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще двенадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»…

— И Вам опять его вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон…

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша б…витость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной б…витости и совер-

шенно перманентно!..

Короче, они совсем за…али мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены…» А в окрестностях Лондона…

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает не Ваш размах, нет, я верю Вам, как родному, меня поражает та легкость, с какой Вы преодолевали все государственные границы…

ДРЕЗНА — 85-й КИЛОМЕТР

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы!? Граница нужна для того, чтоб не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском…

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски! Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела,

тоскуют и просят прикурить… Так что там на этот счет совершенно свободно. Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи…

Так что ничего удивительного… В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм. «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу…»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?!»

«В каких же это носках?!» — заговорил я, уже досады и не скрывая: «В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их

сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и…»

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!»

Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула…

— Контролеры! Контролеры! — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!»

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, — все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся, весь в слезах, а молодой — ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фата-моргана…

Собственно говоря, на Петушинской ветке

контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры; когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого — ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика — а публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие — и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим…

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в

посиневших руках сжимая свои билеты…

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант…

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало… И в этом всеобщем трепете, который вызывает крик: «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение…

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехова-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины…

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-

Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»… А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:

— А ты, Веня? Как всегда: «Москва — Петушки»?..

85-й КИЛОМЕТР — ОРЕХОВО-ЗУЕВО

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки…

— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!..

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься».

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем де-

ло. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? У…л он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и…» Но тут наш поезд,

как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный…

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и в непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже…

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда…

И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

— Семеныч! — отвечал я, почти умоляюще, — Семеныч! Ты выпил сегодня *много*?..

— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину…

— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шахразада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе…

— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении…

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина…

— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? что женщина?!!

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет…

— Возляжет?!! — тут уж он задумался. — Возляжет?!!

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! и…

— О-о-о-о! — застонал Семеныч. Скоро ли сие? скоро ли будет?.. — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности…

Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публики, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «ого»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять…

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну а если прогнать Моше Даяна с Голанских вы-

сот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются я руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого! — говорит, — Ай да генерал де Голль!» или «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого»!

— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у выходных дверей…

— Веня! Скажи мне… женщина Востока… если снимет с себя паранджу, на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд как вкопанный остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась…

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила. Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону…

Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу…» Краешком сознания, все тем

же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей…

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед Лицом Твоим, Господь! Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, — а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты…

«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все — ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина…

ОРЕХОВО-ЗУЕВО — КРУТОЕ

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?..

— А кто ее знает?.. Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

— А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас назреет...

— Когда же выступать? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще мож-

жевеловой…

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора…

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу…

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь…

— Постараюсь, усну, до свиданья, товарищ.

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница»). Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие…

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами — в

ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу…

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли — одна колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено, Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада сель-

по, — все занято было силами восставших…

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич…

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..» «А кто ее знает, где! — отвечали с другого места. — У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов…» «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот! — прерывал я его, — вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, — но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» «Да разве я спорю! — сдавался Тихонов. — Как будто они мне больше нужны,

чем вам! Норвегия так Норвегия…»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, — было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъ…й-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению… И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский Коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский Коридор ни малейшего права…

И послали четыре открытки: Абба Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за

это субъектами международного права…

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции, и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич…

Не спал и пленный, бывший председьсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

— Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

— Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

— А чего это такое?..

— Узнаешь, чего это такое! То есть ноги, еще будешь таскать, Иваныч, а уж на б…ки не потянет!.

КРУТОЕ — ВОИНОВО

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум…

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию пре-

зидента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?..

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? — нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа? Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед, или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец,

заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять…

Мысли роились — так роились, что я застонал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

— Слушай-ка канцлер!

— Ну, чего?..

— Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого, — обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? — открываешь террор?

— Да так… Немножко…

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный… Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться…

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а… сплоховал я с этим террором… ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было… Были, правда, прецеденты, но…

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! полет шмеля это, забава взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как ты думаешь? — сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет…

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет Второй Пленум… Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открылся 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

«Я встаю с президентского кресла, — сказал я в

своем выступлении, — я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?» — «Нет таких», — отвечали хором делегаты. «Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья»?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

«Ну, так вот, — продолжал я. — Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет…»

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, — допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило

пуншем:

— Тебе нравится, Вадя, наша революция?

— Да, — ответил Вадя, — она лихорадочна, но она прекрасна.

— Так… А насчет Норвегии, Вадя, — насчет Норвегии ничего не слышно?

— Пока ничего… А что тебе Норвегия?

— Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет… Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

— Садись, — ответил Вадя, — кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись…

ВОИНОВО — УСАД

Ни одной на нас не упало и наутро.

И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, — я беру в свои руки всю полноту власти; то есть кто дурак и не понимает, тому я объясню:

я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно, становлюсь президентом. То есть „личностью, стоящей над законом и пророками“…»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения…

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал: «Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам

говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, — а все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка…

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят…»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!

«Как же! дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!»

— «Фантомы» дадут!

«Ха-ха! Кто это сказал: „Фантомы“? Еще одно слово о „Фантомах“ — и я лопну от смеха…»

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, — но уж девальвацию франка точно дадут…

«Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но *никто, никто* этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю

плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия — и ухожу от вас. В Петушки».

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел — какие слова полетели мне вслед! тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду…

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния… Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица небесная, как далеко еще до Петушков! — сказал я сам себе. — Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду — где же Петушки?»

«Где же Петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ — все, кто

был на веранде, — все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал — ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того — кто-то ржал уже у меня за спиной.

Я оглянулся — пассажиры поезда «Москва — Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? Осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна…

— Мы подъезжаем к Усаду, да? — Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: — Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил.

Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, тот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай, тихонько, всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего он это взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из

выходящих спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струну и рявкнул: «Никак нет!!» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

УСАД — 105-й КИЛОМЕТР

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже.

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной, таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет,

тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал…

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно… уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься…

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь…

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все

никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу; тихонько, по одному подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком…

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой, — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма…»

«Так-то оно так… но ведь я выехал утром… В восемь шестнадцать, с Курского вокзала…»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие, не успеешь очухаться — бах! уже опять темно… А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего „о-о-о“! Чего это ты все „о-о-о“ да „о-о-о“! От Москвы до Петушков ехать ровно два

часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например…»

«Ну что тебе прошлая пятница? Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили… А теперь черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, стоит — а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино…»

Я взглянул за окно и опять нахмурился:

«Да-а… странно все-таки… выехали в восемь утра… и все еще едем…»

Тут уже сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что, хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят… Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно… Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как груд-

ные младенцы. Я чуть было тоже не задремал…

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно… Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан… Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!»

— Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу…»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай… В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы… и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню…»

«Да что „коса“! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу в 11 утра может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает?

Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: „коса“! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы… А осенний день наоборот — он уже с гулькин …!

Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!» Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка — и прослезился. Со дна души, взамен тревоги, поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь ей триста грамм конфет „Василек“. И вот — через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот „Василек“. А все вокруг станут говорить: тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной „Василек“. Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура. А она рассмеется и скажет: „….“».

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку…

105-й КИЛОМЕТР — ПОКРОВ

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был *некто*, без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто? — спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто! — и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся…

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: предо мною был все тот же *некто*, без ног, без хвоста и без головы…

— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.

— А ты угадай, зачем!.. — ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами…»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал…

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где…

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне, и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся, и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты…?

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» — подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разъ…аю, загадки?» — подумал я еще раз. Но он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два

раза в день ходил по малой нужде, и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? на кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

— Это плохая загадка, Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

— Ах, не будешь? Ну-ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой, каждая пятая изнасилованная ком-

сомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого он теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

— Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью!..

— Ха-ха! Давай третью! Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов С тем более нет. Есть одни только пункты В. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта B_1 в сторону пункта B_2. В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта B_2 в пункт B_1. Неизвестно почему, оба они оказались в пункте B_3, отстоящем от пункта B_1 на расстояние 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта B_2 — на расстояние 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, — выходил ли Папанин спасать Водопьянова?

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха!! — вскричал, потирая руки, Сфинкс. — И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала!..»

— Как то есть «Курского вокзала»?

— А вот так то есть. Курского вокзала!

— Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся. Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня, Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда…

— Тогда давай последнюю, давай!

— Давай последнюю. Только слушай внимательнее.

Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин, — сказал Пожарский, — как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?» — «А я ровно столько же, Минин».

«Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?»

— «Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!» — «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи.

— В Петушки? — подсказал я с надеждой.

— Как бы не так! ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

— А Минин? Минин куда бы пришел, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

— Может быть, в Петушки? — я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. — В Петушки, да?

— А на Курский вокзал — не хочешь?! Ха-ха! — И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. — И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в

Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех, у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слыхал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! — а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил…

— Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

— А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

ПОКРОВ — 113-й КИЛОМЕТР

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку — и растворился в воздухе… Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «…», и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней, и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вся моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла…

Три или четыре мгновения, она, притихшая,

так и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души *подскочила*: одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло.

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!..

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Венечка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал; может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано „…“.»

Я выскочил в тамбур и поглядел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «…». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «…». Боже. Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и

заметался…

«Постой, постой… А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден»…

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу — рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком, и на каждый глоток по

зарнице.

«Человек не должен быть одинок» — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!). А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать „...“ на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!..»

И я пошел по вагонам. В первом — не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором — тоже никого, даже дождь не брызгал...

В третьем — кто-то был...

113-й КИЛОМЕТР — ОМУТИЩЕ

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, придала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с „Неутешного горя“,

копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала…

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего…

— Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица… Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь…

«Это мне-то, в моем-то положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта

загадка, но помню, что-то очень важное… Впрочем, ладно, потом вспомню… Женщина плачет — а это гораздо важнее… О позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме „скорби“ и „страха“ и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал::

— Княгиня!.. а княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармони. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу…

«Ну что ж, кустик, так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину… О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер

Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел… Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой! — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах. Крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, — протянул я восторженно, как давеча декабрист. — Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот Твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик…

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр… Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое… А то, знаешь, опять мне делается тревожно… Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить? В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том, а в том — зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?..

— Ты не путай меня, Петр, не путай… Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?…

ОМУТИЩЕ — ЛЕОНОВО

— Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средства, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются

страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан… Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего…

— И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся: «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то, знаешь, немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?… Ты не путай меня, не путай… Так, так… самая главная мысль… Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер, Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему — понятия не имею. Да, да… вот, теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда спускал в шампанское.

Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке… А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках… А Шиллер-то тут причем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер…

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

— Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотри. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так…

Я опять задумался. И странная эта была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая

была дума…

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким его назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или тридцать пять.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души…

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался…

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый — почему? Это ты сейчас хлопал дверьми, да?»

— Я ничем не хлопал. Я спал.

— Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

— Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем мире никого-никого?

— Никого.

— Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, то кто же там гудит дверьми и окнами? А? Ты знаешь?... Слышишь?... У тебя и выпить, наверное есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да, он повалился на канделябр и погасил его собою, — и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

— Возвратись, Петр! — я так закричал, что не сумел узнать своего голоса: «Возвратись!»

— Проходимец! — отвечал тот из-за окошка.

И вдруг — впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

— Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

— Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабулька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у!..

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?»

Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается давно уже бились и дрожали…

ЛЕОНОВО — ПЕТУШКИ

…Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот — влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эринний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы…

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами: «Остановитесь, девушки!» «Богини мщения, остановитесь!» «В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе? Отвяжи-и-ись! Пусти-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??..

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. — Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею…

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздымались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью… И тогда я зашатался и крикнул:

— О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул — и оторопел: хор Эринний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Все эта лавина опрокинула меня и погребла под собой…

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

ПЕТУШКИ. ПЕРРОН

А потом, конечно, все заклубилось… Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете

— нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень — я вам на это скажу: пожалуй, что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик…

— Митридат, это ты, что ли? — мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. — Это ты, что ли, Митридат?..

— Я, — ответил понтийский царь Митридат.

— А измазан весь — почему?

— А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут…

— А в другие дни не текут?

— Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

— И ты что же, совсем их не утираешь? — я перешел почти на шепот. — Не утираешь?

— Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь?

не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние…

Я прервал его:

— Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

— Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спросил тоже: зачем?.. Резать, конечно…

И как он переменился сразу! Все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались? — и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! — шептал я или кричал, не знаю. — Убери нож, убери, зачем?..» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших, бесов вселилась… «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика… «Перестань, Митридат, перестань…»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, — я успевал только бессильно взвизгивать, — и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода.

«Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже…»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по …цам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин? Царица Небесная, я — в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев… Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй… А чемоданчик где твой,

Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?., два стакана орехов для мальчика, конфеты „Василек“ и пустая посуда… где чемоданчик? кто и зачем его украл? — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может есть хоть немножко!..

Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О эфемерность! О тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..»

«Ничего, ничего, Ерофеев… Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: „Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдна-спать…“ Самое главное — уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков на Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души узнаешь, и почему она не встретила, и все узнаешь… Иди, Веничка, иди…»

ПЕТУШКИ. ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

«Если хочешь идти налево, Веничка — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед куда глаза глядят…»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вдохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода… О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» А я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто

знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует… «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать…

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди… Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, так зачем тебе узнавать

время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный… И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой…

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

ПЕТУШКИ. САДОВОЕ КОЛЬЦО

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят…

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — странно большими… Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян… Помнишь лемму этого черноусого?..»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего:

«Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю… Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму… Меме, текел, фарес, то есть „ты взвешен на весах и найден легковесным“, то есть „текел“… Ну и пусть, пусть…

Но есть ли там весы или нет — все равно — на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков».

«Есть там весы, нет ли там весов — там мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю; чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы…

«Не плачь, Ерофеев, не плачь… Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо…»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал…

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо… Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу…

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех

четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета, — вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож… впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался, — сказал один.

— Как то есть… попался? — голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь…

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте… — голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол продал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол продал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он продал, — потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с этими. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я продал бы Его до семижды

семидесяти раз, и больше бы продал…

— Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите… что я вам?.. я просто не доехал до девушки… ехал и не доехал… я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал… там пустяки и были, а все таки жалко… «Василек»…

— Какой еще василек? — со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»… и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает… но это чепуха… вот только дождаться рассвета, я опять поеду… правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут и ни слова не скажут… даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

— Я хочу опять в Петушки…

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну… пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу…

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные тоже надвигались, — я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступил от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо наступали…

Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад — все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..

Я схватился за голову — и побежал. Они — следом за мной…

ПЕТУШКИ. КРЕМЛЬ. ПАМЯТНИК МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ

«А может быть, это все-таки Петушки? Может, крикнуть „караул“, хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят не сморгнув. Может, и в самом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес — а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни

разу и не взглянул. А если Он никогда земли моей не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега — пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо — был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. Я хоть и слышал уже за собою топот погони — я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил — и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь, наконец — увидел. Когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!»

Неисповедимы Твои пути…

Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до кремлевской стены и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят — тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен по-

кой, — вот все мои желания. Пронеси, Господь…»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они бы сразу убили меня.

— Ты от нас? От нас хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот… Я почти упал, но удержался… Началось избиение.

— Ты ему в брюхо, в брюхо сапогом! Пусть корчится!

Боже!.. я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский…

МОСКВА — ПЕТУШКИ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДЪЕЗД

Все-таки, до самого последнего мгновения, я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул — я все еще надеялся… «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал и… Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо…» Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять…

Весь сотрясаясь, я сказал себе: «Талифа куми!» То есть встань и приготовься к кончине. Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине» — это «лама савахфани», то есть «для чего, Господь, ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные! они подымаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы, что мне сделать?»

И ангелы — засмеялись. Вы знаете, как смеются

ангелы? И они обещали встретить меня, и не встретили, и вот теперь засмеялись, — вы знаете, как они смеются? Это позорные твари, теперь я знаю, — вам сказать, как они сейчас рассмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг — и хохотали над этой забавностью…

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал… А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа… И когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые

и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я помнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками, я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего…

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я…

Они вонзили мне шило в самое горло…

Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» расплаталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах в Шереметьево — Лобня. Осень 69 года.